

Лидия Либединская
г. Москва

Воспоминания Татьяны Вечерки о Борисе Пастернаке

Почему я решила сейчас огласить эти воспоминания? Я сейчас составляю ее книгу. Она была поэтом и прозаиком. Ее судьба сложилась так, что после 1937 года, когда был репрессирован мой отец Борис Дмитриевич Толстой, ее почти перестали печатать, и она была вынуждена пойти работать корректором. До этого она очень активно печаталась. У нее еще в 10-20 годы вышло 4 книги стихов под псевдонимом Т.Вечерка, а последние годы она писала уже прозу, роман о Бестужеве-Марлинском. Он вышел в 30-е годы. А в самые последние годы (она умерла в 1965 году) несколькими изданиями вышла ее большая повесть «Детство Лермонтова», которая была переведена на многие иностранные языки. А стихи ее с тех пор не переиздавались.

Она общалась с Борисом Леонидовичем Пастернаком, и общалась с семьей Цветаевых, вернее, с другой ее ветвью - не с Мариной Ивановной, а с Анастасией Ивановной, потому что, когда мы приехали в Москву в 1924 году из Баку, М.Цветаевой уже не было тогда в России.

С кем еще она дружила?.. У нее все время в воспоминаниях упоминается семья Чугуновых. Я не знаю, кто был Чугунов. Теперь уж и спросить не у кого. По-видимому, это был какой-то ответственный работник в 20-е годы. Потому что его сына, тогда маленького мальчика, в детский сад возили на автомобиле, а это было не так просто.

И она встречалась там с Анастасией Ивановной, с Надеждой Александровной Мещерской, сын которой женился на внучке Анастасии Ивановны. Там же бывал и Пастернак. Какие-то встречи происходили в доме у Чугуновых и с Ольгой Павловной Мещерской – Ольгой Павловной Руновой. Она была родственницей Ольги Форш и тоже исторической писательницей.

Когда мать работала над декабристами, она встречалась с О.П.Руновой, они обменивались какими-то документами. То, что я хочу прочитать, относится к 1927 году. Это фрагментарные записи.

«В первый раз я была у Пастернака в 26 году, от журнала «30 дней» с просьбой дать статью, которую у меня просили в журнал. После долгих переговоров он согласился меня принять и просил

приехать к нему (они тогда жили напротив храма Христа Спасителя). Хотя мне этого не хотелось, я все-таки поехала.

Передняя, она же – по московской тесноте – и столовая, где на стене висит громадный портрет работы его отца. Сын Бориса Леонидовича - Женя, сидел, подвязанный салфеточкой, и что-то ел. Ему было лет около двух, и он меня поразил своим развитием. Показывал картинки каких-то диковинных рыб, не путая их названия, и даже начал угощать меня киселем. Мать его очень смеялась. Вышел Борис Леонидович. Меня поразила его прерывистая речь, исключительная экспансивность и умение сосредоточиться на теме, когда он говорит. Это же подтвердилось, когда я видела его у Чугуновых. Тогда там слушали композитора Сараджева. И он слушал тоже чрезвычайно добросовестно. Потом он сразу выступил и выразил в необычайно деликатной форме то, о чем мы все думали. Слышится, что одна тема переходит в другую: «Чайковский» - в «Сон на Волге», и это изумляет. Однако связи нет, потому что своего, Сараджевского, не чувствуется. В разговоре поразило его благородство по отношению к поэтам и к людям. Он обо всех отзывался очень беспристрастно и благожелательно. У него нет дурной закваски и обиды к людям, хотя ему уже года 32-33 и, верно, ему пришлось много претерпеть. В частности, он очень нуждается в деньгах, но и об этом он говорил как-то по-философски.

Ольга Павловна Рунова стала рассказывать, что была там, что слышала и того, и другого. А Пастернак ей возразил:

- А я нигде не бываю, я и не знаю многих. Потому что иначе работать нельзя.

Стихи свои он читал затрудняясь, видимо, не помнил их наизусть. Да и не знал, что станут просить. Читал о Лейтенанте Шмидте. После него читала какая-то девочка лет 16, потом читал Зубакин. Потом – я. Пастернак добродушно похвалил девчурку, одобрил Зубакина, а мне ничего не сказал. Когда уже уходили, я сказала:

- Почему же Вы обо мне ни слова?

Он сконфузился и громким голосом (это у него всегда, когда он волнуется) заговорил:

- Ну так это же дилетанты, а Вы - профессионал. Я должен посмотреть Ваши стихи, прежде чем высказаться окончательно. Но я вижу – тут дело серьезное...

Спускались вместе с толпой гостей по черной лестнице, он опять подошел, начал говорить, но кто-то из знакомых подошел, он перестал»...

Запись от 21.06.27 года:

«Я шла по Тверской с Лидой от Алеши, и мы были обе мокрые от моросящего дождя. Пастернак в своем сером весеннем пальто остановил меня:

- Я прочел Вашу книгу (*тогда у мамы вышла книга стихов «Крик души»*. – Л.Л.). Я прочел Вашу книгу, как много в ней хорошего. Вы понимаете, что есть стихи, сделанные просто так, а у Вас кровинка есть.

Запись от 27.09.27 года:

«Мы были у Артема Веселого (*видите, как интересно. Я, например, не представляла себе, что Пастернак бывал в доме у Артема Веселого. Ведь это писатель совсем другого направления.* – Л.Л.). В полумраке электрической лампы я сразу различила длинный профиль Пастернака, склоненного над столом. Он молчал и только лишь в конце разошелся и начал смотреть на киноактрису Солнцеву, которая сидела напротив него. Она спросила:

- А что значит «снег падал со вчера»? Это нечаянно или нарочно?

- Ну конечно, нарочно, - ответил. – Я же умею говорить правильно, но мне кажется, что вместо того, чтобы сказать «со вчерашнего дня», лучше, короче и выразительнее сказать «со вчера». Вот, например, недавно один вузовец приставал, что надо переставить падеж в строке «в стекле и цемента», или наоборот, я не помню. Он прав: грамматически надо, но я не могу, мое ухо требует так.

Он вздохнул:

- А я-то думал, что это стихотворение стало классическим, а тут разговоры «со вчера»... Конечно, я так и хотел сказать.

Разговор стал общим. Пастернак рассказывал:

- Потребность в ритмической речи у крестьян удивительна. Когда мы были на даче (он назвал какую-то подмосковную), то наша - не то хозяйка, не то прислуга - в какой-то праздник ...позвала нас всех. Поставила угощение: пряники, орехи и прочее. Все мы сидели тихо, потом, стосковавшись, она сказала: «Ох, как стихов хочется». Она сказала это как-то проще, кажется, «стишков». Но она не знала, кто я, но попросила меня читать «Евгения Онегина». Я читал долго, все слушали очень внимательно. Потом начали играть на гармошке и прочее.

Пастернак засмеялся как-то губами.

Я попросила его надписать мне книгу. - «Сейчас». Он вышел, потом сердился, что у Артема нет чернил, взял химический

карандаш и надписал: «Настоящей Толстой во - имя существа».
Спросил:

- Вы понимаете, что это значит?

Потом неожиданно поцеловал меня и тревожно спросил:

- Может быть, это было нельзя?

Я ответила:

- Да Вам все можно...»

Запись от 15.12.27 года:

«Надо получить подпись-рекомендацию для этических (эстетических?) «Никитских субботников». Накануне позвонила ему от Маруси:

- Ведь Вы же знаете, как я к Вам отношусь. И тогда я Вам книгу надписал – это же не даром.

Подпись обещал дать с удовольствием. Просил приезжать.

На следующий день я долго тарахтела, пока не открыли, - живут они без звонка. В передней-кухне жарилось мясо. Прислуга позвала его, он вышел из спальни, тоненький, в черной вязаной курточке, лицо смуглое, словно загорелое, и исхудавшее, губы побледнели, волосы свисали, как обычно. Заинтересовался отзывом обо мне Вячеслава Иванова.

– Пойдите, покажите, как мне интересно.

Читал внимательно, мгновенно подбравшись и сосредоточась. Потом опять убежал - подписывать.

Опять где-то стучали, пришла соседка, потом его жена. Все куда-то спешили, торопились. И он сам метался. Рассказывал, что у сына воспаление почечных лоханок, а у него болит рука - мылся и неловко повернул, а летом в первый раз растянул, когда пригибал орешник на даче. Улыбнулся смущенно своей детскости:

- И вот так целый день не могу выбрать сделать гимнастику, а доктор сказал, что необходимо.

Жена рассказывала, что они собираются менять квартиру (с Волхонки на Якиманку), и только не могут разобрать: сырая она или нет. Хотя комнаты меньше, но у всех свой угол. Когда я уходила, Пастернак сказал, что выйдет со мной и меня проводит. Бросил пальто жене, она поддержала его, он с трудом, морщась, продел левую больную руку. Пальто старенькое. Я была в грусти, так как он стеснялся его и смотрел растерянно.

На улице рассказывал, что пишет для «Нового мира» статью о Рильке, немецком поэте.

- Я не знал, что он меня знает. Оказывается – знал. Я написал тогда ему письмо. Он ответил очень длинно и ласково. Благословил

меня. Вскоре он умер. Это очень грустно. Он оказал большое на меня влияние.

Мы шли по тротуару, а когда переходили улицу, он неизменно, всегда легко, подхватывал под локоть: привычка воспитанного человека. Говорил еще, что очень собирается за границу - поработать и пожить там немного подольше. А то в нынешних условиях тяжело что-то выжать из себя, Когда вокруг ходят, с утра надо вставать рано, спать не дают, а когда хочется работать – телефон и тысяча разных дел. Видел, что я стесняюсь, и поэтому говорил сам и (манера нежной внимательности) наклонялся каждый раз, когда я говорила.

- Ох, если бы было возможно, поехал бы я во Францию. Я разлюбил ее после войны, но Лафорг оказал на меня слишком глубокое впечатление.

Мы подошли к трамваю, он поцеловал руку и вдруг крикнул ласково:

- К чему Вы меня удержали? Я бы вам дифирамб написал.

Трамвай подошел, я встала на подножку и опять почувствовала его руку; обернуться уже не было сил...

Вот рассказ его о Горьком. Эпизод с поездкой Аси и Зубакина.

- Ася и Зубакин. Горький остался недоволен, что к нему они приезжали, так как он не нашел в них ничего замечательного. Я ему написал: «Напрасно. Вы можете требовать от людей порядочности, честности и умения держать себя, наконец. Но одаренности Вы не можете, право, требовать. По отношению к ним Вы были как бы рождественским Дедом Морозом. Вы осчастливили людей: достаточно и этого. Даже если это и простые, рядовые люди». Горький очень рассердился на меня и написал, что мое письмо - сплошная истерика и что нам не о чем с ним переписываться. Но что же делать, я сказал ему правду. Потом он тут меня увидел, ласково встретился, сказал, что следовало бы встретиться еще, но не назначил дня...

- ... Теперь, после болезни, я так исхудал, что губы мои еще больше выпячиваются. Ну совсем. Когда я просыпаюсь утром, губы мои лежат отдельно на подушке, и я их вижу...

«...Все не то - когда видишь каждую жилочку, когда ощущаешь живое существо, из нескольких тысяч слов можно записать только десятки – грустно...»